



К. С. АКСАКОВ

О Карамзине

Речь, написанная для произнесения
пред симбирским дворянством (1848)

Если б я хотел говорить вам речь, как обыкновенно говорят у нас речи, я бы сказал, что «благородное Симбирское дворянство воздвигнуло здесь недавно знаменитый памятник одному из величайших народных русских писателей, что этим подвигом доказало оно свою ревность ко благу и пользе отечества». — Но я не скажу вам ничего этого. — Имея право общественного слова, я не стану вновь обманывать вас и себя заранее принятыми условными фразами, становить дело на ходули, окружать его натянутым риторическим светом, чем, увы, и так долго мы довольствовались. — Неужели не надоели нам эти фразы? Пора наконец оставить нам ходули. Приходит наконец пора посмотреть делу прямо и строго в лицо, не убаюкивая себя принятыми выражениями, приходит пора возратить слову всю его правду и откинуть великолепную и всегда вредную ложь. Что нужды, если многие громкие, бесполезные фразы от этого навсегда умолкнут? Тем лучше еще. — Вследствие ли ленивого невнимания, вследствие ли чуждого направления они повторялись слишком долго и постоянно мешали свежему и бодрому взгляду. — Так или иначе, но я здесь с тем, чтобы сказать вам прямо мою мысль. — Я не скажу вам, что Карамзин был народный русский писатель — он не был им; он, как и все наше общество с Петра, далеко стоит от народа, и народ не знает его. Его торжество не есть торжество народное. Карамзин, со всеми его великими заслугами, — писатель и деятель публики, а не народа. Я не скажу вам — как это было сказано в одной речи, — что даже и крестьяне приносили добровольные пожертвования на поставленный здесь памятник Карамзину. Мы слышим часто про такие добровольные пожертвования и знаем их. Но если

и были они, то и мне, и вам хорошо известно, что сознательным пожертвованием это быть не могло, что крестьянин не знает Карамзина, что Карамзин не перешел в народное ведение, а сведение о нем, как и о других писателях, и то являющееся исключением, ничего не доказывает. А мы непременно тянем к себе и к своим торжествам, для эффекту, народ и навязываем ему писателей, о которых он не знает. Несмотря на Гений и великие достоинства, Карамзин не может иметь чести, выше всех честей, чести принадлежать народу в настоящем смысле, не может назваться писателем народным. — Я не обращаюсь к вам как к «Симбирскому благородному дворянству»; я обращусь к вам просто как к русским людям или хотящим быть русскими людьми — ибо кто из нас возьмет смелость назвать себя русским человеком? — Почтим это право пока за одним простым народом, за крестьянином. — Я обращусь к вам как к братьям, у которых у всех одна забота и одна задача жизни, у которых у всех цель и любовь нашей жизни — наша Русь.

Но в чем же значение и достоинство Карамзина и всей нашей литературы, какой же смысл ее при оторванности от народа? — Об этом-то и будет наша речь.

Знаменитое, каждым из нас чувствуемое явление и дело Петра в нашей истории поставило всю землю в особые отношения; Петр явился с блеском нововведений, с блеском полной эгоистической свободы жизни для частного человека, вообще с блеском Западного европеизма. Вы знаете, что его преобразование не было мирное учение новой мысли. С топором в руках увещевал он своих подданных следовать за ним. — Боюсь вдаваться в искусительные изыскания, которые заведут далеко и отвлекут нас от предмета, в исследования о мере правды и лжи Петровского переворота; но я думаю, что со мною согласятся по крайней мере в том, что в перевороте Петра если была истина, то была и неправда, и ложь. Эта ложь состояла в страшной односторонности, в излишнем развитии государственности и вместе с тем в полном неуважении к Русской земле, в воззрении на нее как на материал для своих планов, в подражательности и, конечно, в насилии. Петр Русской земли не понимал; он понимал только русские способности. На народ смотрел он как на безгласную массу и всю Россию хотел обратить в тесто, из которого мог бы вылепить немецкие фигуры. — Всю Россию хотел он обратить в машину, в государство, не признавая — от начала до него и доселе существующей — Русской земли. — Дело его удалось, но не совсем и, смеем думать, не навсегда. Вся эгоистическая сторона России, все люди служилые, холопы государе-

вы * — все это вняло гласу Петра и перешло к нему. Остался безоружный крестьянин и удалился с поприща; если он не действовал нападательно, то он стал оборонительно за свой образ и быт. Петр отменил намерение брить крестьянам бороды и одевать по-немецки. Много и из других чинов стало против Петра. Мы доселе слышим невежественные обвинения наших предков за то, что они стали за свои бороды. — Легкомысленные суждения внуков, не знающих ни своей истории, ни жизни своей земли! — Наши предки стали не за одни бороды, они стали против прихоти человека, которую он хотел сделать законом. Замечательно, что брадобритие встречалось в России и прежде, что немецкие платья иногда надевались, и народного негодования не слышать, кроме протестации духовенства. — Почему? Понятное дело. Признавалось право за всяким одеваться как ему угодно. Но когда немецкое платье и бритые явились как принудительная прихоть, когда это стало символом не-русского человека, когда это сделалось насилем, тогда борьба за бороду получила полный и глубокий смысл, между прочим, смысл борьбы за свободу. Все, что стало против Петра из государственного порядка или наряда, то уступило совершеннейшему его развитию, дальнейшему ходу государства (что и понятно). — Много голов пало. Много бояр, дворян и служилых людей не хотели уступить прихоти одного человека и жизнь свою заплатить за сохраненное право. Стрельцы, старое войско войною пошло на новый порядок вещей — и пало. Когда спрашивали их о причине восстания, они говорили (как свидетельствует Голиков)¹, что «государь начал веровать в немцев». — Все, что из государственного порядка (сказали мы) восстало против Петра, — было побеждено; осталась мирная, земская община, крестьяне — и не была побеждена. Крестьянин, сохраняя характер борьбы безоружной, удалился, унося с собою Русской образ и Русскую жизнь неприкосновенными, унося с собою понятие о сходке, о мире как о драгоценном залоге от первых времен на все времена Русской жизни. — Между тем Петровская сторона всем овладела: и богатством, и почестями, и силою. Петр призывал русских на свою сторону, давая простор эгоистическим

* Россия, не разделяясь на неподвижные сословия, разделялась на два разряда: на людей служилых, государевых, и людей земских. К первым принадлежали все бояре, дворяне, вообще все чиновники от казны, другими словами, все, что было от государства. Ко вторым — весь народ, все крестьяне, купцы и чиновники, выборные от народа. Только люди служилые назывались холопами (крестьяне и под.) — никогда.

стремлениям человека, и в жертву от них требовал отречься от народности или от народа. Но эта жертва была и награда в то же время, ибо народ налагает свои великие права и священную тяжесть союза, и непременно требует в жертву вашего эгоизма. — Россия разделилась надвое: с одной стороны, земля и народ, хранящий в себе земскую Русскую жизнь, с другой стороны, общество без народа, общество, отрекшееся от своей народности, от человеческого, стало быть, значения и чести и за то усиливающееся приобрести другую честь, честь обезьяны. Другими словами, Россия разделилась на народ и публику. Публика есть аристократическое понимание народа или, лучше, аристократическое понимание, внесенное в самый народ: где есть публика, там голос народа не свободен. — У нас и народ, и публика имеют эпитеты: народ у нас православный, а публика — почтеннейшая. — Публика (начавшая существовать с Петра Великого) переняла между прочим и литературу. И на таком-то ложном основании, на отречении от своего народа, на обезьянстве Западу, воздвиглась наша литература. Вмиг явился весь Олимп у нас; Феб с девятью музами предложил свои услуги; поэты сейчас напились ипокрены и загремели по лирам. Литература наша, конечно, толковала и о России, но о России другой. Русские люди для нее не существовали: речь идет только о Россах; и этого бедного Росса, без всякого, конечно, сочувствия, которое и невозможно, хвалят до невероятности, и все герои Греции и Рима (обыкновенно они за все отвечают) дрянь перед Россом; надутые фразы так и летят с пера... Каково же было Русской душе в этой отвлеченной сфере нашей литературы?..

Теперь мысль моя, я думаю, ясна. Вся наша литература есть явление отвлеченное, ложное по своей сфере и нисколько не народное и не живое. Весь интерес литературы состоит в той борьбе, которую подымает личный талант писателя с отвлеченностью и мишурою сферы. Составляет интерес в том, как Русская душа, попавшая в эту холодную область отвлеченной лжи и обезьянства, смутно сознает и ищет Русской земли, Русского народа, Русской жизни; как, наконец, от Росского и Российского переходит она к Русскому.

Ряд таких усилий вырваться из отвлеченности и подражательности и прийти к действительности и народности — представляет наша литература. История литературы важна, следовательно, для нас (для публики), во сколько она подвигает нас к народу, заставляя наконец сознать нашу отвлеченность. На это дело также должно быть употреблено много сил и таланта,

и благородного сердца, и правдивой души. Оно одно стоит этих усилий, — и каким вдохновением, и какою красотой сопровождаются они, хотя и то и другое, разумеется, относительно и отвлеченно. И как будем мы, оторванные от народа, благодарны также от народа оторванным, также отвлеченным деятелям нашей литературы за борьбу их с отвлеченностью, за Русское их чувство, за то, что они если не вполне, но все почувствовали ложь всего нашего положения, всей подражательности, за то, что они подвинули великое дело приближения нас, беглецов своей земли, к народу, — великое дело освобождения нас от недостойного образа обезьяны на славу человеческого образа.

Таким деятелем, и деятелем сильным, был Карамзин. Рожденный и воспитанный в отвлеченной сфере, приобретший много познаний, Карамзин предался умственной деятельности. — В самом деле, ум может действовать в сфере чисто отвлеченной, но будет ли он плодотворен? Конечно, нет. Мысль тогда плодотворна, когда есть для нее живое обращение и когда она переходит в общее ведение и достояние, чего без союза народного быть не может; вот почему в течение полутора десятков лет, при уме и при дарованиях замечательных, мы не сказали ни одной прочной мысли, о которой стоило бы упомянуть, ничего не сделали для человечества, о котором много толкуем, потому что ничего не сделали для народа, от которого удалились и с которым даже толковать перестали. — В это общее для всех, для всей публики, и отвлеченное поприще умственной деятельности пустился и Карамзин; но не таким образом, как его предшественники. Доселе вся наша литература стояла на классических ходулях: отвлеченность, не принадлежащая (как действительность) даже никакому существующему народу. Неестественность их почувствовал Карамзин. Неестественность их чувствовалась всеми более или менее, но прежние ходули все стояли. — Карамзин двинулся на новый путь и увлек все за собою, на какой же путь, народный? — Нет, он переменял ходули на ходули: ходули латинские и греческие, ходули древние — на ходули французские, германские, вообще на современные; отвлеченность классическую переменял он на отвлеченность романтическую, — и все заходило на новых ходулях по примеру сильного человека. Лучше или хуже? Хуже с первого взгляда, ибо эти новые ходули были современны, имели живой смысл и действительность у других современных народов и могли бы, кажется, долее продержаться; но лучше на самом деле: ибо, прикоснувшись к какой бы то ни было жизни, мы должны же были наконец почувствовать потребность жизни у себя, и долж-

на была возникнуть борьба между правдою народности и ложью подражательности, борьба, которая началась и идет. Конечно, не вдруг защитники Западно-Российской отвлеченности откажутся от нее, не вдруг откажутся от легкого умения ходить на ходулях, петь с голоса, не вдруг откажутся от удобной роли обезьяны, от сладости беззаботного эгоизма. На пути к народу ждет человека труд и самоотвержение, дело самостоятельной мысли и дело самостоятельной жизни. — Но чем сильнее борьба, тем она действительнее, и прочна будет победа со стороны правой. — Возвратимся к Карамзину.

Итак, Карамзин открыл в литературе новое поприще для подражательности, первый явившись на нем как относительно самого содержания, так и относительно слога. Первые его произведения носят на себе ярко этот славный отпечаток. — Таковы «Письма Русского путешественника», начавшиеся так: «Расстался я с вами, милые друзья, расстался»². С сих первых слов уже слышен новый тон, несравненно более живой, нежели тон его предшественников, но нежный и мягкий, грозящий своей исключительностью, своим излишеством и новою, хотя, как сказали мы выше, лучшею отвлеченностью. В самих путешествиях его мы уже находим все это. В них живо является весь юный Карамзин со своею юною, новою деятельностью. Его прекрасная душа, его близкое знакомство с умами Европы, его идиллическое, сентиментальное сочувствие к природе, его легкомысленный восторг и суд перед Западом. — Таковы же были и первые его произведения: «Бедная Лиза», «Остров Борнгольм» и др. — Что касается до языка, то он также освободил его от непременно тяжелого характера, от замкнутого оборота Речи, вовсе не чуждого языку нашему, но вовсе не исключительного; а до Карамзина он был исключителен, сильно опираясь на оборот латинской как образец оборота замкнутого, возвышенного и распределенного мыслию и подражая ему так, что многие, не пускаясь в глубь рассуждений, решили однажды, что этот оборот нашей речи — влияние латинского языка и более ничего. Было ли собственное основание для такого оборота речи и в какой степени, — этот вопрос не был даже поставлен. В своем «Рассуждении о Ломоносове»³ я стараюсь решить его. Основание замкнутого оборота, или так называемой латинской конструкции, лежит, по моему мнению, в нашем языке, в самих глубоких и вечных его началах. Замкнутый оборот речи нам свой; он принадлежит нам самобытно и по праву. Его встречаем мы в наших грамотах, в речи народной и теперь, наконец, в церковнославянском языке. Но этому обороту придан был на-

шими *классическими* (!) писателями характер латинской, и, сверх того, односторонний и исключительный. — Карамзин был прав в своем противодействии этому искусственному языку, — языку публики, а не народному; но был он не прав, что не приметил (впрочем, он и не мог приметить) сквозь искусственность речи естественные и законные основы оборота замкнутого. Как в самой литературе, сказали мы, переменял он ходули на ходули, но к лучшему, — так и в языке, неразлучном с литературою как среда, в которой живет она, переменял он одну искусственность напыщенности, латинскую, на искусственность простоты, разговорности, по преимуществу французскую. Вместо исключительного оборота речи, замкнутого, явился исключительный оборот речи, распущенный. Простоты Карамзин дать не мог; он дал только пустую легкость и текучесть: свойства чисто внешние и легко обрацаемые во зло. Речь является какой-то бесконечной плетеницей, слова подбираются нужные и ненужные к слову ближайшему, и Карамзинской писатель мог бы, кажется, говорить или вести речь целый век, если б его не остановили или бы сам он не думал остановиться. Конца в составе речи Карамзинской нет. Конечно, такое образование слога является в ущерб языка *, — Карамзин не дал простоты, но где же было и взять ее, когда не было простоты в самой литературе, в самой жизни? Где найти ее в отвлеченности, по своему уже существу ее исключающей? Она в действительности, она в народной жизни, которой не было, которой нет даже и доселе для нашей литературы, как и для всего на иностранный лад живущего общества. Она у народа, удалившегося с попроща и замолкнувшего о многом; она в его устах, и недостижима нам без народной жизни, без союза или, лучше, без слияния нашего с народом. — Но Карамзин внес стремление к простоте — и в этом-то и есть выгода его подвига в языке, хотя до сих пор стремление это употребляется во зло. Впоследствии слог Карамзина удалялся от пустой легкости и праздно-связности речи. В его Истории, в последних томах, это видно.

* Есть забавное положение Карамзина; он сказал: «Пишите как говорят, но и говорите как пишут». Положение, которое решительно ничего не значит. Потому что письменность должна держаться разговора, а разговор письменности, то чего же держаться им обоим? И то, и другое представляется неопределенным, ибо здесь дается определяющий совет: какой же? И то и другое должно походить друг на друга; следовательно, и то и другое остается неопределенным. Это положение, забавное своею наивною нелепостью, недавно было предметом серьезного толкования.

Вот наше краткое мнение о слоге Карамзина; возвратимся к его литературным произведениям. Первые произведения Карамзина (как сказали мы выше) были плодом нового подражательного направления, внесенного им в нашу литературу. Но скоро темное и еще отвлеченное чувство «милого отечества» пробудилось в Карамзине и обратило его внимание на русскую историю. Плодом этого были новые произведения. Конечно, ничего русского в них нет; ничего русского в этих новых невиданных образах, появившихся на Руси в литературе; тайна народа не открылась, — но все это были не «Трувор, Синав, Владимир, Иоанн», решительно не возбуждавшие сочувствия. Это были не менее ложные, но уже по самому новому (хотя все отвлеченному, не надо забывать) направлению, вследствие которого явились, — более как-то близкие лица для публики нашей. Сочувствие нашего преобразованного и отвлеченного общества все же стремилось к ним. Родные имена сладко звучали в ухе. Кто не знает начала «Марфы Посадницы»: «Раздался звук *Вечевого колокола*, и вздрогнули сердца в Новгороде!» — И так, как бы то ни было, шаг был огромный. Пробудился общий интерес, разумеется, только для публики. Публика увидела, что она может обойтись без героев Греции и Рима, что она может назвать других героев, ей близких, современных европейских; может разделить другое, ей близкое, общее для нее, современное иностранное направление, — и может, следовательно, судить и принимать участие в литературе. — Надо сказать здесь важное положение: с Карамзина литература наша сделалась общим достоянием публики, тогда как до него даже для самого отвлеченного общества нашего (для публики) она — его отвлеченный плод — была недоступна, была, следовательно, вдвойне отвлеченна. — Если в публике могло и должно было пробудиться сознание в своей лжи и отвлеченности, в своей неправде перед народом, если это сознание и весь путь его усилий высказывался в литературе, то, я думаю, ясно, что дело очень выигрывает, когда для всей публики становится доступною литература и публика вся призывается принимать в ней участие. — Мы сказали о т<ак> н<азываемых> русских повестях Карамзина; он писал их, движимый новым, но все отвлеченным, не великолепным, а уже милым сочувствием к отечеству, нашедшим всеобщий отголосок и в литературе, и в публике. Но долго потом и повести Мармонтеля, и разные другие сочинения показывали, какое направление вызвало эти, будто бы русские, образы, непременно бы отвергнутые простою и строгою Землею. Русского дела, русской жизни тут не было; это все был

еще русицизм. Замечательно, как при таком ложном, отвлеченном русском направлении, или, лучше (как я выразился, думаю, верно), русицизме, попадаютца целиком высокие мысли и выражения из русской жизни, сейчас опошлившиеся до такой степени, что само истинное русское направление не вдруг возвратит им, в употреблении по крайней мере, всю их вечную свежесть. — Таковы: *наш православный народ*, или: *православные!* Таково: *Святая Русь*, опрофанированная, как скоро недостойные ее, не народные уста стали произносить ее имя, а уста русских западопоклонников, разорвавших связь с родной землей и желающих иногда быть не русскими, а русицистами. Таковы: *Белокаменная, Русское хлебосольство, Московское радушие* и пр. Иные дошли до отвратительного, таково: *Русское спасибо*. При этом слове сейчас рисуется противная фигура Господина во фраке, который отрекся от всей русской жизни и между тем, нимало не желая изменяться, старается ухватиться за народное. Это официальное чувство, и не чувство в то же время, а разве ощущение, — как оно уродливо-гадко; хочется вскрикнуть, как будто кто дотронулся до раны. Но есть таки <e> опять русицизмы, которые клеймят небывальщину на русский народ. Таково, например, понятие и выражение *русской барин!* Он обязан появлением своим на Руси европейскому влиянию. Вообще трудно найти выражение и понятие противнее этого, а оно ведь похвала. Есть люди, которые с особенным наслаждением, медленно, с чувством и расстановкой произносят это выражение: *Русской барин!* Клевета состоит в том, что это недостойное явление называют народным, существенно народным, даже древним, даже превосходно выражающим народ!.. Можно ли это слышать? Русской барин — это не допетровское лицо: самое имя барин было неизвестным Древней Руси, — это явление послепетровское, эта безобразная смесь своих неограниченных прав и чужих недостатков есть произведение знаменитого Преобразования и преимущественно принадлежит Екатерининской эпохе. При этом слове мысль о роскоши Западной, о вельможестве является вам, о совершенном отвращении от своей родной земли, — и в то же время о тысячах русских душ, материале и источнике прихотей и роскоши. Он сыплет деньги; по мнению некоторых, он благотворит, — но самая эта снисходительная благотворительность еще более оскорбляет: чувствуешь, что это такая же прихоть. — На крестьян смотрят с точки зрения барина, как на руки и ноги, добрые смотрят как и на желудок, и никто не смотрит как на головы и сердца; даже до сих пор последнее воззрение появляется в немногих, и теперь случалось

нам услышать от одного европейски образованного барина: «Это полулюди». А многие филантропы в своем человеколюбивом умилении только того и хотят, чтоб глупые крестьянские головы и сердца варили те новости и истины, которые вздумают они им рассказывать, как для детей, языком для них понятным, напр<имер>: что такое бык и которой рукой надобно молиться, или: пьянство вредно, и тот, кто ленив, наработает мало. Такие советы показывают меру ума этих господ филантропов. — С радостью кинулся бы к толстоброхому боярину (мы берем даже недостойный образ), не умеющему грамоте, но верующему вместе с народом и ограниченному в отношении к подвластным ему холопам и крестьянам указами уложения и народною связью, — кинулся бы прочь от европейского *Русского барина* (в которого боярин превратился после Петра), роскошного, просвещенного, элегантного, — и ничем не ограниченного: ни народностью, ни законами, дикого и страшного, небывалого деспота! Порождение Петровского переворота, *Русской барин*⁴ исчезнет вместе с ним. Скажите, чего нам лучше имени *Русской человек*? Не довольно ли этого?

Мы вдаль в отступления, но они нужны для характеристики эпохи, в которой действовал Карамзин. — Среди переводов Мармонтеля⁵ и Вольтера Карамзин тревожился Русской историей, заставившей его написать несколько статей. — Наконец, неясные порывы, его темная любовь к «милому отечеству» нашла дорогу и обратилась в дело. Русская история открылась для Карамзина. Здесь отвлеченный и вместе искренний писатель столкнулся с самою жизнью Русскою. Произошло свидание; но отвлеченный Русский деятель на ходулях, с Западными понятиями, не узнал в этом свидании Русской истории: так успел отдалить Петровский переворот последовавших за ним. Но непониманию противопоставил Карамзин чистоту и искреннюю любовь, и книга его согрета чувством человека, не понявшего своей земли, но любящего ее. Его История — создание отвлеченное, но прекрасное, исполненное чувства. Мог ли он, при всем таланте своем, тогда писать иначе? Он назвал свою историю «Историей Государства Российского» — название верно. — Карамзин искал *Государства*, его хотел описывать, не требуя, не понимая и не предполагая Земли, мысль о которой и не возникла тогда. — Как грустно и скучно ему (историку) в периоде удельном, как хочется ему героев, о которых читал он в Западных исторических книгах, как говорит в нем иностранно-национальная честь, как наряжает он Мстиславов, Изяславов, Владимиров в разные геройские одежды, — и как бледны они у него;

а это в самом деле были люди великие, но живые образы, но живые речи их, сохраненные летописями, не пробиваются сквозь риторический слог истории Карамзина. Как радуется Карамзин Иоанну III, как хороши слова, сказанные об нем; отсюда История его становится и полнее, и сильнее, до самого междуцарствия, где, лишенная Государей, она опять теряется. — Да, Карамзин именно писал историю Государства Российского; он не заметил безделицы в Русской истории — Земли, народа. Заслуга его истории та, что она пробудила поневоле сочувствие публики к судьбам родной земли, сочувствие, неверно высказавшееся, но тем не менее уже пробужденное; ибо темное Русское чувство лежит в нас, лежит возможность возникнуть в нас Русскому человеку, отказаться от публики и перейти к народу, — а без того какой бы смысл имела для нас жизнь? — Темное Русское чувство лежит в нас, беглецах родной и народной жизни, сказал я, а возбужденное, оно найдет себе дорогу, бросит ложную и выйдет на прямую. — История Карамзина сама по себе и по влиянию на общество выражает благотворное усилие Русского чувства вырваться из-под чужих, отвлеченных пут; эти пути еще на нем, оно еще ими тешится; но противоречие является неминуемо, ибо уже есть потребность чувства самостоятельного, которое не терпит подражания. — Важнее всего то, что Карамзин, приступив с Западными понятиями к истории, поклонник Государства, мало-помалу преобразовался сам Русской историей, учился у нее и пришел под конец к новым убеждениям, несогласным с прежними. Его неизданные позднейшие сочинения это доказывают⁶. Русское дело двинулось вперед; в настоящее время много упало ходуль, много туману слетело с глаз, ясно заговорило Русское чувство; и для многих, уже твердо ставших на поприще Русского направления, было приятно нечаянностью узнать, что Карамзин в ненапечатанных своих сочинениях так близко подходит к современным понятиям, к понятиям их стороны, о русском деле. — Здесь кстати сделать оговорку. Русское направление, высказавшееся теперь так сильно, вовсе не от Карамзина ведет свое начало. Оно ведет начало от времен самого Переворота, ибо с него и началось это темное противодействие иностранному влиянию. Всякая живая душа чувствовала темно ложь его на себе, и темно боролась. Чтоб сказать определительнее, это идет от Ломоносова. Этою глухою, темною, постепенно выясняющеюся борьбою определили мы нашу литературу, и эта прекрасная борьба дает ей смысл и занимательность. Карамзин есть один из таких борцов, и причем из борцов сильных: вот и все. Начало же это-

го направления от Русской души и от истины. Не видеть этого показало бы только странную близорукость. Сверх того, как мы сказали уже, ненапечатанные сочинения, в которых именно выражается образ мыслей (к какому пришел Карамзин), сходный с современным Русским образом мыслей, — эти сочинения сделались известны очень недавно, по крайней мере, многим из тех, которые уже крепко стали за Русское дело, в которых пробудилось Русское чувство, Русский дух и Русское направление. — В этих ненапечатанных сочинениях Карамзин задумывается над переворотом Петра, чувствует его односторонность, замечает, что он отделил нас от народа, и, наконец, заступает за Русский образ и бороду, на которую нападал прежде. В письмах своих он говорит о Москве и Петербурге, понимает, хотя еще не вполне, хотя снисходительно, — всю ложь последнего, отдает преимущество Москве и говорит, что все или, по крайней мере, главное значение народное в Москве, — одним словом, выражает уже Русской образ мыслей. — Итак, начавши с ложного направления, но исполненный любви и прекрасный душою Карамзин в награду пришел к истинному образу мыслей и много, много способствовал ему. В этом его великая заслуга. Любовь пробилась сквозь мишуру и вышла на чистую дорогу. — Теперь мысль наша окрепла, видать яснее, деятельность стала сильнее, и сильнее говорит чувство; мы видим, чего не видели за несколько лет. Мы не назовем Карамзина народным писателем; мы уже определили его значение, как и всей нашей литературы и ее деятелей. Но он, как и другие писатели, и он более многих из них, — подвинул наше отвлеченное общество, подвинул нас к сознанию действительности, к земле нашей. Ему, как и другим, обязаны мы многим, обязаны мы тем, что теперь живо начинаем понимать нашу землю, что Русское чувство заговорило в нас, — обязаны истинною, отчасти узнанною, отчасти нами в свою очередь узнаваемою. Ему же обязаны мы и самой речью, теперь произносимой, ему самому обязаны мы тем, что, откинув ложные похвалы, не называем его народным писателем, но видим, что он писатель публики, писатель отвлеченной сферы, чтобы вырваться из которой сделал он, на пользу всем, большой шаг, — видим его настоящее место и настоящую заслугу.

Так понимаем мы значение Карамзина. — Мы не говорим о нем напыщенно и праздно, не пишем великолепного и ложного панегирика. Хвалим и благодарим его правдивою, прочною хвалою и искренним сердечным благодарением воздаем ему истинную и истинно великую честь.

Что касается до личности, то, по нашему мнению, она значит немного в подвиге, имеющем влияние на всю страну или на все человечество. Участие ее здесь невелико. К подвигу, к мысли приносит она только искренность, и потому уже самое дело, самая история возносит личность на высоту. Значение ее остается, как и всегда, нравственное. Искренность и убеждение — вот ее сила. Может ли личность вполне и бескорыстно предаться какой-нибудь мысли, поверить чему-нибудь? — Если может, — довольно; а там уже не ее дело. Убеждение ее право и истинно; оно совпало с голосом народным, с требованием времени, — и оно торжествует. Таково наше понятие о всех великих людях, из которых иные весьма невелики. Таково наше мнение об участии лица в подвиге. — Карамзин, как двигатель литературы, является нам именно в таком же отношении к своему подвигу. Но именно, что признаем мы за Карамзиным, — это его нравственное значение, его чистую душу и искреннюю любовь. Любовь делает чудеса, и она-то положила дорогу Карамзину сквозь мишуру общества, вооружила его влиянием, произведшим переворот, давшим новое направление, ложное, но уже более истинное, чем предыдущее, и наконец приведшее к истине, чему именно Карамзин много способствовал. — Под истинной разумю я Русское направление, направление народное, самобытное, действующее теперь и трудящееся много, и с каждым днем уясняющее себе место и путь, направление новое и древнее, в том смысле, в каком древнее — вечное, и новое только потому, что оно было долго подавлено преходящим, которое может пройти и устареть, и таким образом непременно становится противоположное себе направление как новое. — Говоря здесь об истине, о русском направлении, я не стану говорить о противниках наших, об этих устаревших Петровцах, которые еще не догадались, что юное, вступающее в жизнь, не на их стороне.

Еще раз: хвала и благодарение Карамзину, сильному деятелю на поприще усилий Русского чувства, стремящегося к действительности, к самостоятельности, на поприще возвращения нас, беглецов своего народа, вновь к народу, источнику всякой самобытной, истинной жизни. Заклучим нашу речь этим священным именем, именем, которым и сам Карамзин желал бы, чтобы заключилась речь об нем, — именем, драгоценным для Карамзина, для вас, для меня, для нас всех, именем Русского Народа.

